Ад устроен совсем не так, как мы представляем. Концентрический план Данте, апокрифические сказания – всё это излишне литературно, чтобы соответствовать действительности. Гениальная догадка Достоевского о пауках в затхлом углу бани есть лишь вспышка провидения, но не даёт развёрнутой картины, динамического образа. Как свидетельство очевидцев можно было бы рассматривать буддийские танка, на которых чудовищные демоны пожирают грешников, терзают их плоть столь изуверски, что сама восточная изощрённость бледнеет перед натурализмом изображения. Но даже в таких картинках присущий живописи эстетизм (как, скажем, и у Иеронима Босха) мешает ощутить подлинность мучений. В реальности всё должно быть страшнее в своей простоте, обыденности и повторяемости.

Осязаемой моделью ада могло бы стать, например, отделение урологии областной больницы дотационного региона России: ночь, глухая темнота за окнами, подчёркнутая тревожным жёлтым светом дежурного освещения; манипуляции с больными прекращены, врачи ушли, оставив очередного цербера на посту медицинской сестры; брошенные на произвол судьбы грешники искупают блуд, пьянство и чревоугодие почечными коликами и болями внизу живота. Стон и скрежет зубовный повсюду. Страшно слышать их, но ещё страшнее видеть обитателей урологического ада. Маленькие дети, которых иногда зачем-то приводили с собой посетители, приходившие навестить заболевших родных, плакали от ужаса, увидев сборище Франкенштейнов, с точащими из тела трубками, с перекинутыми через плечо полиэтиленовыми контейнерами, в которых плескалась отвратительного вида жидкость.

Фантасмагорический внешний вид страдальцев невольно заставлял думать, что и внутренний мир их жуток, непостижим; так всегда считают люди, сталкиваясь с неизвестным, с тем, к чему пока не привыкли. Монстры урологии и впрямь внушали человеку неподготовленному кошмарные ощущения, а при всём том в несчастных не было ни грамма мистики или готического мироощущения – они оставались реальными людьми с самыми обыденными запросами и проблемами. И вместе с тем, болящие всё же были страшны в любых своих проявлениях, скажем, во время приёма пищи, когда трясущимися руками несли тарелку с жидкой похлёбкой. Когда ели, как-то особенно неопрятно, когда морщились: опять бурда! Когда несли остатки своих порций к ведру с помоями, поставленному рядом с рукомойником, и, выплё-

скивая свою порцию, склонившись в поклоне перед электрической сушилкой для рук, попадали макушкой под её раструб, от чего сушилка утробно и торжествующе ревела, словно радуясь очередной жертве. Больные вздрагивали и понуро семенили прочь. Мученики заболеваний мочеполовой системы были страшны даже в комических ситуациях. Намаявшись лежанием в койках за долгий день, страдальцы под вечер выходили на прогулку по длинному больничному коридору, своего рода Бульвару Урологии, вдоль по которому гуляли попарно и поодиночке, оценивающе поглядывая друг на друга и чуть ли не раскланиваясь, как в позапрошлом веке. Дамы, наверняка, обсуждали фасоны и расцветку больничных халатов, а кавалерам впору было покручивать усы и приподнимать цилиндры, встречаясь с ковыляющими навстречу чаровницами. Карикатура на гравюру XIX века с Невским или Летним садом: бомонд в лохмотьях и тапочках. Представители высшего общества в бесформенных халатах и старых спортивных костюмах, с торчащими из тела трубками – какая жестокая ирония!

Урологические больные были страшны и тогда, когда их никто не видел под покровом ночи. Страх и боль, выработанные ими за день, безраздельно владычествовали на третьем этаже больничного здания. Каждый из бессонных страстотерпцев, притаившихся в чёрных углах своих застенков, по-своему перемогал болезнь, но все вместе они создавали то неприятное энергетическое поле, которое явственно ощущается в любой больнице и которое затягивает даже бодрых и здоровых людей и заражает их тоской безысходности. Наверное, самое страшное в аду – безнадёжность. Страдание ужасно, но переносимо, когда есть надежда на окончание страдания. Когда же такой надежды нет, выдержать даже малую толику боли почти невозможно...

В ту ночь мученики урологии испытали не только физические, но и моральные страдания. Уже заполночь внезапно сработала пожарная сигнализация. Поначалу было похоже, будто в коридоре включили радио или заевшую пластинку. В палатах стали просыпаться, прислушиваться… Бесстрастный и вежливый механический голос сообщал о пожаре, предлагая без паники покинуть помещение. Прибеги кто-то, крикни пронзительно: «Братцы! Горим!», и люди зашевелились бы, ища путь к спасению, но замороженный голос из динамика превращал всё в какую-то непонятную игру, расслаблял, лишал воли. Однако наиболее сообразительные больные уже полезли поодиночке из щелей своей муки на свет дежурных ламп. Одни выходили с папками – несли документы, историю болезни, как историю жизни, как своё оправдание перед Богом на Страшном суде. Другие тащили на себе запчасти – трубки и пластиковые мешки с циркулировавшей по их организму жидкой субстанцией. Постепенно коридор заполнился болящим людом, который принюхивался, смотрел по сторонам, протискивался к дверям отделения, запертым, тем не менее, на ключ. Хаотично двигались по коридору хворые, пытаясь выяснить, как спасаться, что делать. И удивительно, но к волнению примешивалась глубоко затаённая радость: может быть, удастся, хотя

бы даже ценой смертельной опасности, на законных основаниях вырваться из ада? Пусть на краткий миг, пусть в отсветах пожара, в дыму, но вдохнуть вольный ветер здоровой, небольничной жизни – это было бы счастьем.

На суету в коридоре напряжённо взирали сквозь неплотно прикрытые двери своих палат те, кто не мог двигаться, кто был прикован к кроватям недугом. «Неходячие больные» замерли в тревоге, поняв, что пришёл их конец, что гореть им, немощным, заживо, ибо в суматохе пожара никто не войдёт к ним, не поможет… Некоторые из «неходячих», измученные болью и беспомощностью, днём, в перерывах между процедурами, молили Бога послать им кончину, но сейчас, ночью, перед лицом страшной гибели, и они хотели жить, словно молодые.

А в коридоре недоумение постепенно сменилось мрачными шутками – осмотр здания из окон, насколько это было возможно, и звонки в другие отделения больницы немного успокоили заложников физиологии. Оказалось, что тревога ложная, что сигнализация ошибочно сработала, причём лишь на двух этажах: здесь, на третьем, и в кардиологии. Какой нечеловеческий сарказм! Допустим, в урологии ещё можно было бы воспринять произошедшее с трагикомическим оттенком: ну, описается от страха человек, выскочат из почки камешки, да и всё. В кардиологии же такой переполох мог кончиться гораздо драматичнее…

Надо сказать, что во время происшествия с мнимым пожаром страстотерпцы испытали не только опасения за свою жизнь, но и горечь предательства. Неожиданно все увидели, что дежурная медсестра облачена не в белый медицинский, а в самый обыкновенный байковый домашний халат, такой удобный и тёплый. В этом наряде сестра, снявшая с себя белизну ответственности за людей и облекшаяся в негу домашнего уюта, ничем не отличалась от больных, сливалась с ними и была неузнаваема. Факт переодевания воспринимался безусловным фактом измены – это всё равно, как если бы на поле боя солдат надел униформу противника. Долго не было видно и дежурного врача. Наконец, доктор поднялся с нижнего этажа. Страдальцы несколько успокоились: «Ну вот, сейчас всё разъяснится! Сейчас станет понятно, что делать». Но оказалось, врач сам пришёл узнать, что тут у них стряслось. Он расспрашивал медсестру, и по сконфуженно-раздражённому лицу его было видно, насколько он рассержен всем происходящим. Стало понятно, что, пользуясь неурочным временем, доктор ушёл из своего отделения по каким-то посторонним делам (в карты ли играл с коллегой на другом этаже или амурничал с молоденькой медсестричкой?), и теперь ему было крайне досадно, что оторвали от приятного времяпрепровождения и вернули к делам служебным.

После отключения пожарной сигнализации тревога постепенно улеглась, и больные разбрелись по своим палатам. Всё стихло, а через небольшое время летний рассвет стал проникать в больничные окна каплями ещё не света, но уже как бы полутьмы. Эти светлые частички зарождались в таинстве короткой июньской ночи и вливались в распахнутые оконные проёмы, убаюкивая больных, как поддерживающая жидкость из капель-

ницы, вливаясь в вену, приносит забвение и несколько мгновений расслабленного покоя. Капля за каплей атомы света вкатывались в палаты, и становилось легче, потому что придёт утро и, может быть, ещё день можно будет прожить.

В девятой палате лежали четверо. Молчаливый безработный – заведомый конформист по неосознаваемым, но прочным убеждениям, всегда готовый к любому повороту событий, легко принимавший всё, что происходило вокруг, особенно, когда это не касалось его впрямую. Его поразительная склонность к компромиссу раздражала даже врачей, поскольку пациент немедленно соглашался как на ускоренную выписку, так и на быстрейшее проведение операции. Врачам особенно трудно пользовать таких больных, так как приходится полностью брать ответственность за их дальнейшую судьбу на себя, что неприятно. У другой стены посапывал во сне наркоман, работавший водителем маршрутного такси, пропагандист идеи о легализации лёгких наркотиков, глаза которого становились масляными каждый раз, когда он возвращался из туалета с перекура. Койку около окна занимал сорокалетний электрик с водянкой яичка, ожидавший наутро операции. Четвёртым был старый «зэк», появившийся в палате лишь вчера утром, вошедший угрюмо, не здороваясь, процедив сквозь зубы что-то вроде: «Можно у вас поместиться?» Старик, имевший восемь «ходок», который «всю Сибирь толкал», прошедший Север от Воркуты до восточной окраины континента. Ветеран лесоповала, сам удивлявшийся, что до сих пор жив, сложив на больничном одеяле кисти рук, испещрённые «наколками», спал, занимая всю койку, но не раскидывая конечности, иногда захрапывал, но тут же осекался во сне. Именно так спят бывалые арестанты в тюрьмах, на пересылках, в лагерях: многолетняя привычка быть даже во сне готовым к немедленному отпору или беспрекословному повиновению совершенно беззащитного спящего человека делала носителем одновременно двух статусов – доминирующего и подчинённого.

Постепенно жирная антрацитная темнота в палате под напором частичек света расточалась, серела, превращалась в своего антипода. Казалось, предрассветное умиротворение вот-вот снизойдёт на мир Божий и на отделение урологии как малую часть его. Но в соседней палате послышались возня и стоны. Там, за стеной, помещена была одинокая старуха, страдавшая непроизвольным мочеиспусканием. Все другие больные постепенно покинули палату, ибо находиться рядом с полубезумной бабкой было невозможно. Бывшие соседки старой карги умоляли пересилить их куда угодно, в самую переполненную палату, лишь бы освободиться от криков, стонов, падений, нечистот. Медперсонал почти не заглядывал к оставшейся в одиночестве пациентке, и, проходя днём по больничному коридору, за неплотно прикрытой дверью можно было увидеть тщедушное тельце в лохмотьях, валявшееся то на кровати, а то и на полу в собственных испражнениях. И вот сейчас, под утро, задремав, старая женщина снова свалилась на пол и не находила в себе сил подняться на лежанку. Стоны старухи за стеной ста-

новились громче, постепенно складываясь в нечленораздельную, недоступную восприятию по смыслу, но интонационно очень выразительную и точную речь погибающего человеческого существа.

В девятой палате шум за стеной вызвал мгновенную реакцию. До того крепко спавшие больные завозились, закашляли, засопели – все, кроме наркомана. Сквозь сон они понимали: что-то случилось. И первая их реакция была реакцией облегчения: не у нас, в соседней палате… Не со мной!

Бормотание за стеной перешло в крик. Сначала это был крик боли, ставший постепенно криком отчаяния. Пытаясь докричаться до кого-то, старуха стала выражаться более членораздельно: «Люди добрые! Помогите!» Мольба о помощи оказалась понятна не только интонационно, но и смыслово. «Люди добрые! Люди добрыи! Люди добры! Помогитя! – На разные тона голосила бабка. – Я упала! Помогите, пожалуйста, люди добрыи-и!» Странный в сегодняшнем мире призыв, долетавший, казалось, не из-за стены, а из того старого времени, когда люди ещё стремились ощущать себя добрыми, когда на этот призыв отзывались, если не для себя, то хотя бы для других – показать свою доброту. Думалось, что на зов Бабы Яги из соседней палаты, как лист перед травой, должны были бы явиться добры молодцы, какие-нибудь двое из ларца, и навести порядок. Но чуда не произошло. Не было слышно в больничном коридоре ни молодецкого посвиста, ни топота Сивки-Бурки, ни даже чьих-нибудь шагов. «Люди добрыи-и, люди добрыи-и!» – старуха срывалась на истерический фальцет, но добрых людей не обнаруживалось: никто не спешил ей на помощь. Почему в ответ на мольбу о помощи никто не явился? Не было на третьем этаже добрых людей? Или уже во всём Божьем мире добрых людей не осталось?

Доброта – самое бесполезное для человека качество характера. И в то же время – самое показное: подал нищему копеечку, и все вокруг уже увидели, что ты нежадный, то есть добрый. Но, странное дело, при столь распространённом демонстрировании собственной доброты, при непоколебимой внутренней убеждённости каждого, что он-то и есть самый добрый человек на свете, мы мало о ком в обиходном разговоре скажем: «Этот добрый». Потому как подспудно понимается всеми, что на самом деле добро со щедростью материальной не полностью совпадает. Тут нужно ещё и внутренне, душевно затрачиваться, а до таких трат мы жаднее всего. Проще уж расстаться с частицей своего достатка, чем быть на самом деле обеспокоенным кем-то ещё, кроме себя самого, проще производить на окружающих впечатление добряка, жертвуя лепту на храм или на сирот. А утвердившись добряком в глазах окружающих, ты уже и сам начинаешь себя считать добрым. Раз и навсегда убедив себя в собственной доброте, живёшь в этом убеждении, как в броне, и незачем тащиться в соседнюю больничную палату в темноте, среди посторонних людей, когда никто не увидит, не оценит твоей доброты. Какой странный, несвоевременный тест на добро предложила вдруг всем старуха из соседней палаты! Кто наделил её полномочиями подвергать нас такому испытанию?! Кто и почему имеет право беспокоить

совесть, уже задремавшую было на казённой подушке?!

Снова и снова назойливый, неприятный голос, почти вой: «Люди добрыи! Люди добрыи!» Одно и то же повторяла старуха, как заклинание, это раздражало и смущало. Нытьё продолжалось настолько долго, что, как показалось, на него стало отзываться эхо. Не то реальное физическое явление, которое поселяется в пустых помещениях и среди гор, а какое-то потустороннее эхо, долетевшее сюда из неведомой таёжной глухомани, где погибали заблудившиеся странники, так же взывая о помощи, – авось кто-нибудь услышит. Эхо всех тех узилищ, где мучили людей с незапамятных времён по приказам фараонов, царей, императоров и прокураторов. Эхо казематов, где терзали воров и татей опричники, заплечных дел мастера. Эхо внутренних тюрем НКВД, эхо пыточных камер фашистских застенков и концлагерей. «Люди добрые!» – как наивно такое обращение к палачам, и как логично оно, это обращение, к тому человеческому в изуверах, что должно же было оставаться. Несчастному мученику всегда кажется, что именно его горячая мольба дойдёт до кромешной души мучителя, именно в отношении к его горькой судьбе произойдёт перемена и обновление в сердце ката, и тот раскается, отпустит несчастного и, стеная, бия себя в грудь, отправится замаливать грехи вдали от людей, потому что таков непреложный закон человеческий и Божественный: слабый рассчитывает на покровительство сильного, зло исчерпывает себя и прекращается, мир становится светлее и лучше.

А в эту ночь было не так. Долго кричала бабка из соседней палаты, и никто не хотел заглянуть к ней. «Позовите врача! Врача! Вра-ча-а!» – надрывалась старуха. Но вскоре со всей безжалостностью истины стало понятно, что помощи от медперсонала она не получит. Это осознала и сама полоумная, рассчитывавшая теперь уже не на медиков, а на тех больных, которые слышали, не могли не слышать её призыва, и в силах были прийти ей на выручку. «Помогитя, дайте руку!» – завывала старая женщина, но тщетно. Даже такой малости – протянутой руки – не удостоили её люди. Крики переходили в стоны, а стоны – почти в песню, раздражающую и болезненно нервирующую. Но никто не хотел брать на себя ответственность и решимость доброты. Лёжа на больничной койке и слушая стоны и крики, многие лишь озлоблялись на хрычовку, прервавшую сон, не собираясь и пошевелиться, чтобы помочь ей. Кое-кто негодовал на медсестру: вот ведь, бесчувственная стерва! не слышит, что ли! Наверное, кто-то жалел старуху в глубине души, сочувствовал. Но подниматься с кровати, идти в соседнюю палату, скользить по залитому мочой линолеуму, поднимать с пола и класть на кровать дурно пахнущую, явно неадекватную бабку… Неизвестно ещё, чего от неё ожидать: вдруг кинется на спасителя – что с неё возьмёшь, дура ведь... Даже самые сердобольные в своих мыслях люди постепенно испытывали нехорошее чувство к старухе за то, что не даёт спать, заставляет думать, чувствовать, испытывать угрызения совести. И какая-то странная рефлексия поражала мозг: возникали вдруг размыш-

ления о том, что является добром в данном случае; может ли естественный порыв помочь человеку оказаться добрым поступком, если он обернётся неудобством или опасностью для того, кто мог бы, в принципе, добро совершить. Что есть истинное добро? Может быть, вся глубина добра в том, чтобы мне продолжать валяться на этих больничных простынях, а идти мне в соседнюю палату – совсем и не добро?.. Удивительно, как самоанализ подавляет свободу! И чем глубже рассуждение, тем прочнее запутывается человек в сетях мысли, тем стремительнее теряет он волю, способность действовать.

На короткое время крики в соседней палате стихли, раздались глухие стуки. Старуха, осознав, что помощи ждать неоткуда, стала двигать мебель, пытаясь подняться сама. Но была она столь немощна, что, пожалуй, и стул бы не смогла подвинуть. Жалкая возня за стеной вновь сменилась криками. Это вызывало резкое раздражение и желание не слышать. Да как смеет она обращаться за помощью?! Мы сами больны! Но тут же внутренний голос разоблачал лукавство: конечно, больны! но не настолько же, чтобы не иметь возможности помочь самому или, по крайней мере, позвать медсестру, обратить её внимание на беспомощного человека. Благоразумная рефлексия, упорно противоречившая желанию помочь ближнему, выходила на новый виток. Все знали крутой нрав медсестёр из урологии, все понимали, насколько неприятно им будет, когда их на рассвете погонят поднимать старуху. А ведь у этих медсестёр и дальше лечиться. От них многое зависит: рассерженная медсестра может болезненно сделать укол, пропустить процедуру, не дать таблетку – мало ли что ещё. У медсестёр множество способов отыграться на неугодном больном! Плюс к тому они друг другу передают всё, что произошло на дежурстве, могут попросить и сменщицу досаждать строптицу. Кому нужны неприятности на фоне и так уже не слишком сладкой жизни пациента урологии? Нам что, больше всех надо? Есть же дежурная, ей за доброту деньги платят! Сестра милосердия – так раньше называлась эта профессия. Профессия… Специальность… Служение добру и милосердию превратилось в профессию и стало профессионально бездушным. А нам, неспециалистам добра, что же нам делать?

«Помогитя! Дайте руку!» Снова и снова в предутренней тишине больничного здания раздавались призывы помочь – и снова никто не приходил на помощь. Что удерживало людей? Брезгливость, страх, лень… Какие ещё качества? Да надо сначала с этой старухой разобраться: она самато добрая ли? А вдруг она противная и злокозненная, всю жизнь мешала и надоедала окружающим, а теперь вот решила нахалявку добро от других получить? Нет, нас на это не купишь, мы люди бывалые, понимаем, что к чему. Вот если бы кто-то нам доказал, что этот божий одуванчик – живое воплощение доброты, мы бы ей помогли, а так…

«Люди добрыи! Люди добрыи!» Светает. Где же добрые люди? Можно ли их будет увидеть при беспощадном свете дня? Ворочался на своей кровати электрик – всё о своём думал, об операции. Он боялся ложиться под нож, но и жить далее с распухшим

пахом было невыносимо, неприлично. Даже в туалет сходить стало проблемой. Да и жене неудобно демонстрировать такое слоноподобное достоинство. Какое-то время мужчина прятал чудовищно распухшее яичко в складках брюк свободного покроя, а сейчас всем стала очевидна его болезнь. Но операция страшила. Страшно было лишиться сознания под наркозом, отдать своё тело в руки чужих людей. А потом, ещё не отошедшего от наркоза, привезут в палату… Он почему-то очень не хотел, чтобы его бред слышали соседи, всё казалось, что будет материться. А тут ещё эта бабка орёт среди ночи, отдохнуть не даёт! Безработный конформист лежал, тупо глядя в потолок – ждал команды. Скажи ему кто-нибудь: «Иди, спасай старушку», – пошёл бы и переложил её на кровать, прервал бы череду болезненно раздражавших криков-стонов. Но команды не было, и безработный не решался проявить самостоятельность: вдруг кто-то осудит его за нарушение молчаливого сговора недобрых людей. Водитель-нарокоман не отрывался от своего бредового забытья, не слышал, не чувствовал призывов к доброте.

Безучастным бревном с огромными исколотыми фиолетовыми узорами руками лежал на койке «зэк»: не его это дело, все его дела, как известно, остались у прокурора. У него вообще не было дел в непонятном и жестоком вольном мире, где нет твёрдых понятий, где чуть ли не ежеминутно приходится отвечать себе на вопросы: добрый ты или злой? прав ты или нет? делать ли что-нибудь или бездействовать? Долгая жизнь в заключении приучила его к тому, что надо быть дерзким, крутым, резким, а для этого не следует рассуждать. «У нас бы на зоне…» – он именно так и осознавал, даже находясь вне мест заключения: «у нас», резко противопоставляя заключённых находившимся на свободе людям. «У нас бы на зоне давно всё закончилось: либо задушили подушкой суку, либо «шестёркам» шикнули, они бы её на шконку положили да ещё укрыли бы одеяльцем. А тут… Ни хрена хорошего». Бывший заключённый неожиданно для себя растерялся в этой пустяковой, в общем-то, ситуации: нужно было определить свою позицию непосредственно, прямо, без каких-либо авторитетов, а опыта такого не было; необходимо было разобраться в себе, но он не умел этого делать. Неприятно и непривычно было размышлять на отвлечённые темы, хотелось провалиться в чёрный сон, как это было в лагерях, но приходилось поневоле слушать надоедливые крики, и не было права у него прекратить их своевольно, как не было решимости откликнуться и помочь. В то же время, почему-то невозможно было отключить сознание и совесть, как он много раз делал в лагерях… Когда «зэк» думал, рассуждал, время словно останавливалось, что было, пожалуй, страшнее всего. Он привык к деятельности, пусть даже бессмысленной, пусть даже вредоносной, однако поглощавшей всё его существо, заслонявшей собой счёт времени и тоску насильственным образом ограниченного пространства. Когда «мотаешь срок», любое замедление (а тем более остановка!) времени недопустимо, и надо хотя бы чем-нибудь занять руки, забросать мозг самой чепуховой информацией, вроде того, как забивают рот семечками – от нечего делать:

плести «дорожку на волю», набивать «наколки», «чифирить» – всё что угодно, лишь бы убить время. А вот на воле, оказалось, время неубиваемое: есть оно, ничего не поделаешь, надо существовать в нём, приноравливаться к нему и к своему новому нутру.

Время в палате, во всём отделении и впрямь замедлялось. Это было до удивления наглядно: световые шарики теряли свою скорость и становились заметны любому наблюдателю; крики старухи приобретали тягучесть и вязкость; явь перетекала в сон, а сон в явь медленно и внушительно, как ртуть. Приостанавливался ход времени от всеобщего размышления о том, что же такое доброта, добро. Собранные на третьем этаже облбольницы люди раздумывали о природе добра и о своём отношении к добру, вопрошали себя о добре вообще и о своём участии в творении добра. А поскольку это главное дело в жизни, время давало людям возможность не торопиться, подумать ещё и, возможно, всем вместе, соборно впустить в мир толику добра, малую, почти неуловимую, как корпускула света, но необходимую. Это становилось всё более понятным, и осознавалось правильным даже то, что время оформило для вердикта о добре такой нелепый, чудовищный антураж: урологическое отделение областной больницы дотационного российского региона. На фоне страха, боли и нечистоты, предательства и безразличия, инфернальной темноты и нервного жёлтого света дежурных ламп ясным вдруг показалось, что это всё-таки не ад, а чистилище: есть ещё возможность что-то изменить, качнуться в сторону света. Время застыло в больничной декорации, придавило людей необходимостью поступка, и неизбежность выбора становилась мучительна, почти как почечная колика. При всём том оказалось, что замедленное время обладает огромной энергией, энергией статичности, которую преодолеть, пожалуй, сложнее, чем энергию неумолимого движения времени. Энергия остановившегося времени настолько сильна, что замер даже начавшийся было рассвет. Десятки людей, собранных волей случая в одном месте, тем же случаем принуждены были одновременно предаться раздумьям над тем, что в обычной жизни люди игнорируют. Хотя, возможно, это и не было случайностью. Вполне вероятно, что именно этим людям следовало по законам неведомой нам справедливости (её принято называть «высшей») оказаться в отделении урологии в эту минуту, претерпеть мучения и адскую боль, горечь разочарования и утраты надежд, дабы вот сейчас, на пороге рассвета, всем вместе задуматься над чем-то вечным, замедлить время и решить для себя нечто важное. Важнейшее: продраться ли сквозь кромешную лень души к добру или оставить добро, отказаться от него окончательно и остаток дней служить злу? А возможно, обитателям урологического ада следовало действовать не коллективно, а лишь молчаливым голосованием выбрать кого-то одного, способного оформить стремление к добру в поступок?

«Люди добрыи! Помогитя!» – опять затянула своё старуха. «Зэк», кряхтя и кашляя, поднялся с кровати, медленно подошёл к двери, по-воровски незаметно нырнул в коридор. Через малое время возникла суетная возня в соседней палате, а затем всё стихло.

«Придушил он её, что ли? – подумал электрик из девятой палаты. – Или просто так совпало?» Отвыкшие от тишины больные не могли поверить, что нескончаемые стоны прекратились. За окнами стало светлее, рассвет уверенно приближался. Может быть, в Божьем мире всё встало на свои места? Или просто так совпало? Скрипнула дверь девятой палаты. Бывший «зэк» вошёл и лёг на койку, сосредоточенно и надсадно сопя.